



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

Разбойник
(Рассказы)

Николай Лесков

Разбойник

Ехали мы к Макарью на ярмарку. Тарантас был огромный, тамбовский. Сидело нас пятеро: я, купец из Нижнего Ломова, приказчик одного астраханского торгового дома, два молодца, состоящие при этом же приказчике, да торговый крестьянин из села Головинщины. Я, купец и приказчик сидели сзади, под будкою, молодцы насупротив нас, а крестьянин на облучке с ямщиком. Хотели мы ехать на почтовых, да побоялись задержек по П—ской губернии, где на ту пору почтовые станции держал генерал Цыганов (вымышленная фамилия). Он служил предводителем и все больше охотился за лисицами да за разным красным зверем, до дел не доходил, а люди его, надеясь на барскую защиту, творили что хотели. В ярмарочную пору им была лафа; проезжих много, и все больше купечество, народ капитальный и незадорный; твори с ним что хочешь, он за рубль дорогою не стоит, потому всегда наверстать его надеется. Да и задору-то на цыгановских станциях не боялись. «Нам, бывало, говорят, что книжка? Плевать мы хотим в эту книжку-то. Пиши, что душа пожелает. Три рубля — да вот тебе и новую книжку к

столу прилепят». Зная все это, мы порешили ехать на сдаточных. Езда была тоже пускай не сахарная, однако все лучше; по крайней мере неприятностей ожидалось меньше. Погода стояла ясная и сухая, дорога – что твое шоссе, только колеса постукивают. По обыкновению, все мы скоро между собой перезнакомились и сблизились, как способны сблизиться в дороге только русские люди. Разговоры у нас ни на минуту не прекращались, так что купец, который постоянно укладывался спать и закрывал лицо синим бумажным платком, крепко на нас сердился и что-то бурчал себе под нос. Впрочем, сердился он только на езде, а как до привала, так сейчас и сам вступал в разговор. Из всего нашего дорожного общества более всех болтал и даже надоедал своею болтовнею один из ехавших с астраханским приказчиком молодцов, Гвоздиковым звали. Превеселый был парень, и лицо такое хорошее, не то чтоб очень умное, а так, открытое, веселое, словом, хорошее лицо. Он поминутно болтал и все больше подтрунивал над своим товарищем. Глаза у него были такие чистые и смех такой задушевный,

что даже становилось досадно, глядя на его беспечную веселость. Другой молодец, товарищ Гвоздиков, был человек лет сорока, с лицом, заросшим черными волосами до самых глаз. Над глазами волосы у него были подстрижены и придавали ему типический вид русского сектанта. Впрочем, он и сам говорил, что живет «по древнему благочестию». Он смеялся над выходками своего товарища как будто нехотя и сбивал все больше на ученый разговор насчет писания и нравственности. Гвоздиков звал его «желтоглазым тюленем». Сам приказчик, толстый, рослый человек, с широкою, окладистою бородою, остриженный также по-русски, был человек, что называется, не пуций, но добрый и снисходительный. Крестьянин же, сидевший на козлах, молчал почти целую дорогу и только изредка предлагал безотносительные вопросы, на которые веселый молодец спешил отвечать какою-нибудь забористою шуткой. В Арзамасе мы пробыли почти целый день и выехали только под вечер; сделав верст пятнадцать, осмеркли, а в деревне, где нужно было переменить лошадей, стало совсем темно. За-

казали первым делом вышедшей к нам на крыльцо бабе самовар, а потом потащили кто саквояж, кто сверток, кто связку с баранками, а «желтоглазого» оставили в тарантасе, на дозорном пункте. Вошли в избу – духота страшная. Перенесли стол в сени, присели к нему на скамейках и разложили провизию. Через час та же баба подала бурый самовар с зелеными пятнами и капающим краном.

– Вам запрягать, што ли? – спросила баба, поставив деревянную чашечку под капавший кран.

– Запрягать, запрягать, краля моя червонная! – отвечал Гвоздиков.

– Да где мужики-то? Аль одна дома? – спросил купец.

– Одна! зачем одна? не одна, а с богом,

– Тебя, значит, бог бережет.

– А то кто ж? знамо бог.

– Да мужики-то кто ж у вас?

– Мужики-то?

– Да.

– Кто? свекор, хозяин мой да братенек у него, молодой мальчик.

– А баба-то ты одна?

– Одна. Свекруху весной схоронили, а парня еще в осень женить будем.

– Да где ж они, мужики-то?

– А! – да парнишка в гон еще утресь поехал, тоже купцов повез, да вот не бывал, свекор с хозяином тут, у суседа, на следствие к становому пошли.

– На какое следствие?

– Да вот тут намедни у какого-то проезжего в лесу чумадан срезали.

– Кто срезал?

– Кто ж его знает? неш мало всякого народа теперь по дороге болтается? теперь ярманка.

– А скоро они придут от чиновника-то?

Баба плюнула на два пальца и сорвала ими нагоревшую светильню у свечки.

– Должно, скоро будет. Даве еще, где светло, пошли.

Выпили по чашке, по другой, на дворе скрипнули ворота и слышался говор. Через минуту в сени вошел высокий мужик с лицом не столько суровым, сколько раздосадованным и сердитым. Он нам не поклонился и прошел прямо в избу.

– Микитка еще не был? – спросил он у бабы как-то нетерпеливо и раздражительно.

– Не был.

– А ты чего огня-то не зажжешь? Собирай вечерять.

Он снова показался в дверях избы и, не говоря нам ни одного приветственного слова, прямо сказал:

– Тарантас-то на двор бы втянуть,

– Чего на двор? Мы хотим ехать.

– Самая теперь езда! – проговорил он вполголоса и, обернувшись к бабе, закричал громко:

– Собирай ужинать-то! Аль оглохли?

Из избы послышалось: «Полно горло-то драть, неш не видишь, собираю».

Мужик пошел на двор, и там опять послышался говор. Через несколько минут у самой сенной двери старческий голос сказал: «Усыпал, аль не слышишь? ведь сказал, что усыпал, едят».

Вошел старик, белый как лунь и немножко сторбленный.

– Чай-сахар, купцы почтенные! – сказал он.

– Просим покорно, дедушка! – ответил ему

приказчик, но он, очевидно, счел это приглашение за самую обыкновенную фразу и не обратил на него никакого внимания.

– Ехать хотите? – спросил он, опершись руками о наш стол.

– Хотим ехать.

– Нужно, видно, очень?

– Да, нужно.

– На ярманку?

– Да.

– Ехать-то не ладно, – сказал он, подумавши, смотря попеременно всем нам в глаза.

– Что так?

– Да ишь вон всё шалят.

– Шалят?

– Да, баловают, пусто им будь. Теперь вот третий день казаков расставили. Бекет у лощинки поставили, а вчера тут вот сосед вез баринка в своем тож кипаже: весь задок-то истрошили.

– Кто ж это?

– А господи его ведает.

– И никто не видал?

– Барин, знамо, в задку сидел, и с барыней; да не чуяли, а лакей, зная, клевал на козлах.

Кому видеть-то?

– А ямщик?

– Да и ямщик, може, не видал.

– А може и видел? – спросил Гвоздиков.

– Кто ж его знает? може и видел. Что поде-
лаешь-то с врагом-то с этаким?

– Отчего?

– От праздника, – тем же нервным голосом
ответил внезапно вошедший с фонарем и с
уздой в руках муж принявшей нас бабы.

Никто не отвечал. Всем было очень непри-
ятно.

– Едут как оглашенные, – продолжал, ни к
кому не обращаясь, мужик. – Говоришь: обо-
жди, повремени: где тебе! слушать не хотят, а
там тягают нашего брата да волочат.

– Да чего ж тягают? – спросил приказчик.

– Спроси их чего.

– Ну, не видал ли? не слышал ли чего? спра-
шивают, – проговорил ласково старик.

– Что ж! сказал, да и к стороне.

– Чего не к стороне.

– Все пытаются тебя и так и этак, – прибавил
старик, – все добиваются того, чего, може, и
не видал.

– Ну и скажи.

– Что сказать-то? – спросил опять молодой.

– Правду.

– Правду! правда-то нонче, брат, босиком ходит да брюхо под спиной носит.

Баба вынесла большую чашку с квасом, в котором что-то плавало, поставила ее около нас на конце стола, положила три деревянные ложки и краюшку хлеба. Оба мужика и баба перекрестились на дверь, в которую глядел кусок темного неба, и начали ужин; старик присел около купца, а молодой и баба ели стоя. Гвоздиков опрокинул чашку и пошел на смену желтоглазому. Вошел желтоглазый, сел, налил чашку, откусил сахару и, перекрестившись двумя перстами, начал похлебывать.

– А ехать теперь не годится, – сказал он, допив первую чашку и протягивая руку к чайнику.

– Чего так? – спросили мы почти все. Хозяева продолжали ужинать и, по-видимому, не обращали на наш разговор ни малейшего внимания.

– Говорят, очень уж шалят по ночам.

– Нас пятеро.

– Так вас и побоялись, пятерых-то, – встал крестьянин.

– А ты-то шестой будешь.

– А я что? Мне неш видно? Мое дело знай гляди дорогу.

– Ямщику где, батюшка, ваше степенство? – говорил старик. – Ямщик порой что и видит, так не видит.

– Отчего ж так?

– Да так.

– Да отчего же не крикнуть седокам-то?

– А как назад-то поеду, тогда кому крикну? – спросил опять молодой.

– А тогда чего кричать?

– Да того ж самого.

– И-и, – нельзя, купцы честные, – сказал старик. – Вас-то сдашь, надо вертаться, а он те тут где-нибудь со слягой и караулит, да, гляди, с товарищем. Животов отнимет, а то и веку решит!

– Ну, вздор!

– Чего вздорить-то. Неш не бывальщина? – встрел опять молодой.

– Нельзя, родной, никак нельзя нам ничего

с ними поделаться, – сказал старик.

– Храбрые вы уж такие, видно.

– Вот те и храбрые. Храбрись не храбрись, а храбрее мира не будешь, – опять заметил молодой.

– Да миру-то что?

– Миру-то?

– Да.

– Ловко рассуждаешь! Што миру? Он теперича по злобе мой двор зажжет да всю деревню спалит. Миру што?

– Ну, так, гляди, и спалит!

– Да неш тебе говорят небывальщину, што ли!

– Ну, а казаки?

– А казаки што? Они свое дело знают: курловят да за бабами гоняются; а може и сами тут же.

– С ворами-то?

Молодой не ответил.

– Кто ж их ведает? – сказал вместо него старик. – Болтают, а мы – господи их знает. Про то знает начальство, каких оно людей представляет.

– Ночевать, видно, господа! – обратился к

нам приказчик.

– Что ж? ночевать так и ночевать, – проговорили все чуть не в один голос.

Ехать у всех отшибло охоту. Хозяева как будто не обратили на это никакого внимания, только молодой как будто успокоился и, хлебнув две-три ложки, сказал совсем не тем голосом, каким говорил до сих пор.

– Ему, вору-то, чту тебя загубить али село спалить? Ему все одно, одна дорога; а ты поди, там пойдут тебя водить да тягать, чего не держал да чего не ловил? а тут мир, – за всю беду ты и в ответе.

– А видите вы этих мошенников когда-нибудь?

– Хоть и видишь, так што ж?

– Нет, я так: можно ли их видеть?

– Чего не видеть? Ведмедь зверь, да и того видают, а то чтоб человека да не видать.

– А ты видал когда?

Мужик помолчал и положил ложку. Баба взяла чашку и пошла за кашей.

– Годов с шесть, али больше, пожалуй, – сказал он, – раз такого страху набрался, что и боже мой.

Мы стали слушать.

– Верстах в десяти тут от нас, сбочь большака-то, есть село, – мимо, почитай, завтра поедем, большое село, – и продавал в этом селе один мужик лошадь. Нашинские мужики баили – добрый мерин, гонкий и здоровый. У нас на ту пору лошадь, знаешь, охромела, а время тож вот как теперь – ярмачно, езды много. Вот я встал этак еще где тебе до зорьки, взял денег рублей сорок, али побольше, да и пошел в то село. Иду по леску-то, да и думаю: дай срежу дубину; не ровен, думаю, час. Гляжу по кустам-то и вижу, важная растет хворостина, с комельком, знаешь, – ну я ее и срезал. Срезал, иду да веточки ножом и опускаю, ловкая вышла дубинка. Вот, думаю себе, если кого перекрестить, – почухается, а сам все иду. Прошел этак еще версты с три, гляжу, впереди под самой под опушкой, к дороге-то впереди меня шагов этак за тридцать, сидит человек, ноги свесил в канаву, шапки на голове нет, волоса длинные, как быть, к примеру, у дьячка молодого, в портишках, а плечи голые. На коленях у него лежат какие-то лохмотенки суконные, и он в них пальцами-то пе-

ребирает, ищется, стало. Глянул я назад и по сторонам – народушку ни единой души нигде не видать. Спужался я. Думаю, назад вернуться – погонится, вперед тоже боязно. А! думаю, чту господи даст: бог не выдаст, свинья не съест. Сотворил молитву и пошел вперед. Подхожу это к нему, а он стряхнул свои лохмотенки-то, дыра на дыре, вижу, а знать, что одежда солдатская. Иду, сердце захолонуло, а все иду ближе. Поровнялся с ним; а он стоит. В руках, вижу, ничего нет.

Баба принесла чашу с кашей и поставила на стол. Мужик опять перекрестился и, съев несколько ложек, стал досказывать:

– Стоит, а я совсем уже к нему подошел. Гляжу: жалкий такой, сапожонки подвязаны обрывком, а штанишки черные, нанковые с кантиком, совсем как не свалятся, рубашонки совсем нет, только те лохмотья на плечах накинута. Сукно, знаешь, солдатское, а воротник оторван.

– Ну.

– Ну и ну. Плохонький, думаю, ты человек. Жаль мне его стало крепко. В бегах, должно, скрывается, а у меня тоже братенек середний

в службе. Жаль таково-то. Подхожу я к нему, а он озирается да таково-то тихо говорит: «Дай, говорит, за ради господа бога ты мне кусочек хлебушка. Четвертый день, говорит, маковой росинки во рту не было». – «Эх, говорю, милый! кабы знатье, а то нет с собой хлебушка-то». – «Ну дай, говорит, грошик». Думаю себе – грошика не жаль, и не грошик дал бы, а страшно. Деньги эти у меня все в сапоге да в тряпице связаны, станешь разбирать, он человек в нужде, кто его знает! Враг, думаю, силен, и не в такой беде – да и то смущает человека. «Нету, говорю, милый, и грошика, не прогневайся». – «Врешь, говорит, дай: пожалей душу христианскую». Раздумье, знаешь, меня взяло, и хочу деньги достать, и оторопь берет; а его на ту пору словно враг дернул за язык, – «давай, говорит, а то своих кликну»; а сам нагнулся, да руку за голенищишко и сует. Спину-то, как доску, так всю, знаешь, мне и выставил. Страх меня обуял смертный, некогда, вижу, думать-то, поднял дубину-то да как свистну его вдоль по хрипу, со всего, знаешь, с размаху. Так он и повалился, и руки в стороны растопоршил. Лежит ничком, словно ля-

гушка какая. Хоть бы он вскрикнул али повернулся – ничего. Только екнул да разочек вздохнул, а я ударился что есть поры мочи. Насилу добег до села. Страсти такой набрался, что и не приведи ты мать царица небесная злому татарину.

Мы посмотрели на атлетическое сложение хозяина и переглянулись.

– Что ж, назад-то как шел: не было его?

– Не было. Должно, уполоз в лес.

– А не прикончил ты его часом?

– Когда? Опосля?

– Нет. Как ударил-то?

– Господи знает. На моей душе грех, коли что случилось. Только я не хотел; я и старикам сказал и попу каялся. Старики велели в те поры молчать, а поп разрешил причастие. «Ты, говорит, этому не причинен» – питинью, одначе, наложил. Ну, только тела тут нигде не находили, – прибавил он, помолчав. – Я года с два все опасовался, думал, на вину опять как бы не оказался где; нет. Так и сгинул. Теперя уж, сла-те господи, ничего.

– Где ж бы ему деться? – проговорил наш торговый крестьянин.

– А кто его знает, може товарищи справди были, убрали, должно, – ответил старик.

Ужин кончился, мы чай тоже отпили.

– Пойдем, вдвинем тарантас, – сказал сын отцу, и вышли.

– Где будете спать? – спросила баба, – в избе аль на дворе?

– Где там на дворе-то у вас?

– Да все вон больше на сене ложатся проезжие.

– А! ну и ладно.

Мы вышли на двор. На небе показались звезды, ночь была теплая. По двору ходила корова, в углу отфыркивались лошади. Мужики двинули тарантас и заперли ворота.

– На сено, купцы? – спросил молодой хозяин.

– На сено.

– Идите вот сюда. – Он отворил маленькую дверку в плетневой сарайчик, полный доверху ароматическим сеном.

– Вот вам и упокой, полезайте. Из кипажи, может, что вынести? Впрочем, вы будьте благонадежны, здесь на дворе, – прибавил он, – вашей нитки не пропадет. Я сам вот тут

сплю. – Он указал нам на высокую короватку, смощенную на столбиках под сараем, почти у самых ворот.

Мы взяли одни подушки да коврик.

Через пять минут в сарайчике только раздавалось носовое посвистыванье да похрапыванье. Точно квартет разыгрывали. Купец ранее всех начал соло на контрабасе, и Гвоздиков назвал его «туеском», а вслед за тем сам начал выделявать разные колена. Однако ничего. Укаченные ездою, все спали прекрасно, только мне все снился солдатик, о котором говорили с вечера. Ползет будто он к лесу, а голова у него совсем мертвая, зеленая, глаза выперло, губы синие, и язык прикушен между зубов, из носа и из глаз сочится кровь; язык тоже в крови, а за сапожонком ножик в самодельной ручке, обвитой старой проволочкой, кипарисный киевский крестик да в маленькой тряпочке землицы щепотка. Должно быть, занес он ту земельку издалека, с родной стороны, где старуха мать с отцом ждут сына на побывочку, а может быть, и молодая жена тоже ждет, либо вешается с казаками, или уж *на порах* у бабки сидит.

Ждите, друзья, ждите.